

Блокъ.

ДРАКОН

АЛЬМАНАХ
СТИХОВ

ПЕТЕРБУРГ
1921

ДРАКОН

АЛЬМАНАХ
СТИХОВ

1-ый ВЫПУСК

ПЕТЕРБУРГ
1921

ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

15-я Госуд. типография, Звенигородская, 11.



Напечатано в колич. 5.000 экз.
Р. В. Ц.

* *
*

Нет, ты не говори, поэзия — мечта,
Где мысль ленивая игрой перевернута,
И где пленяет нас и дышит легкий гений
Быстротекущих снов и нежных утешений.
Нет, долго думай ты и долго ты живи,
Плачь и земную грусть и отблески любви,
Дни хмурые, утра, тяжелое похмелье, —
Все в сердце береги, как медленное зелье.
И, может, к старости, без сил, ты встретишь срок
Пять — шесть произнести как-бы случайных строк,
Чтоб их в полубреду потом твердил влюбленный,
Растерянно шептал на казнь приговоренный,
И чтобы музыкой глухой они прошли
По странам и морям тоскующей земли.

С Ф И Н К С

Шевельнулась безмолвная сказка пустынь,
Голова поднялась, высока...
Задрожали слова оскорбленных богинь
И готовы слететь с языка...

Преломилась излучиной гневная бровь,
Зарываются когти в песке...
Я постигну забытое слово Любовь,
На забытом живом языке!..

Но, готовые врыться в сыпучий песок,
Выпрямляются лапы его...
И опять предо мной—только тайный намек,
Нераскрытой мечты торжество!..

x x
x

Смолкали и говор, и шутки,
Входили, главы обнажив.
Был воздух туманный и жуткий,
В углу раздавался призыв...

Призыв к неизвестной надежде,
За ним — тишина, тишина...
Там женщина в черной одежде
Читала, крестясь, письма...

А люди, не зная святыни,
Искали на бледном лице
Тоски об утраченном сыне,
Печали о раннем конце...

Она же, собравшись в дорогу,
Узнала, что жив ее сын,
Что где-то он тянется к Богу,
Что где-то он плачет — один...

И только последняя тягость
Осталась: сойти в его тьму,
Поведать великую радость,
Чтоб стало полегче ему...

С Л О В О

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, под'яремый скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
На песке вычерчивал число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово—это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

Л Е С

Ирине Одесской

В том лесу белесоватые стволы
Выступали неожиданно из мглы,
Из земли за корнем корень выходил,
Точно руки обитателей могил.
Под покровом ярко-огненной листвы
Великаны жили, карлики и львы,
И следы в песке видали рыбаки
Шестипалой человеческой руки.
Никогда сюда тропа не завела
Пара Франции иль Круглого Стола,
И разбойник не гнезвился здесь в кустах,
И пещерки не выкапывал монах.
Только раз отсюда в вечер грозовой
Вышла женщина с кошачьей головой,
Но в короне из литого серебра
И вздыхала и стонала до утра.
И скончалась тихой смертью на заре
Перед тем как дал причастье ей кюрэ.

Это было, это было в те года,
От которых не осталось и следа,
Это было, это было в той стране,
О которой не загрезишь и во сне.
Я придумал это, глядя на твои
Косы-кольца огневающей змеи,
На твои зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.
Может быть, тот лес — душа твоя,
Может быть, тот лес — любовь моя,
Или, может быть, когда умрем,
Мы в тот лес направимся вдвоем.

ВСТРЕЧА ОСЕНИ

С черным караваем,
С полотенцем белым,
С хрустальной солонкой
На серебряном подносе,
Тебя встречаем.
Добро пожаловать,
Матушка осень!
По жнивьям обгорелым,
По шелковым озимям
Есть где побаловать
Со стаей звонкой
Лихим псарям.
Словно становища
Золотой орды,
От напастей и зол
Полей сокровища
Стерегут скирды.
И Микулиной силушке
Отдых пришел:
Не звякает палица
О сошники,
К зазнобе милушке
Теперь завалится,

Ни заботы, ни горюшка
Не зная до зорюшки,
Снять ма пуховики.
Что же не побаловать,
Коль довелось.
Добро пожаловать,
Кормилица Осень!
Борзятника-ль барина,
Чья стройная свора
Дрожит на ремне
Как стрела наготове
Отведать крови —
Радость во мне?
Ногайца-ль татарина,
Степного вора,
Что кличет спуская
На красный улов
В лебединую стаю
Острогрудых соколов?
Чья радость—не знаю.
Как они на лету
Гикаю — «улюю,
Ату его, ату!»
И радость такая,
Как будто люблю.

1918, Октябрь.

В МАЕ

Голубых глубин громовая игра
Мая серебряный зык.
Лазурные зурны грозы.
Солнце, Гелиос, Ра

Даждь

И мне златоливень дождь
Молний кровь и радуг радость!
Под березами лежа буду гадать.
Ку-ку... Ку-ку... Кукуй,
Кукушка, мои года.
Только два? Опять замолчала.
Я не хочу умирать. Считай сначала...
Сладостен шелест черного шелка
Звездоглазой ночи. Пой, соловей,
Лунное соло... Вей
Ручьями негу, россыпью шелкай!
Девушка, от счастья ресницы смежив,
Яблони цвет поцелуем пила...
Брось думать глупости. Перепела:
«Спать пора, спать пора» — кричат с межи.

1919.

* * *

Из облака, из пены розовой,
Зеленой кровью чуть оживлены,
Сады неведомого халифата
Виднеются в сиянии луны.

Там меланхолия, весна, прохлада
И ускользящее серебро.
Все очертания такого сада
Как будто страусовое перо.

Там очарованная одалиска
Играет жемчугом издалика,
И в башню к узнику скользит записка
Из клюва розового голубка.

Я слышу слабое благоуханье
Прозрачных зарослей и цветников,
И легкой музыки летит дыханье
Ко мне, таинственное, с облаков.

Но это длится только миг единый,
Вот снова комнатная тишина,
В горошину кисейные гардины
И каменоостровская луна.

* * *

У всех одинаково бьется,
Но разнo у всех живет.
Сердце, сердце, придется
Вести тебе с небом счет.
Что значит: «сердечные муки»?
Что значит: «любви восторг»?
Звуки, звуки, звуки
Из воздуха воздух исторг.
Какой же гений налепит
На слово точный ярлык?
Только слух наш в слове «трепет»
Какой-то трепет ловить привык.
Любовь сама вырастает,
Как дитя, как милый цветок,
И часто забывает
Про маленький, мутный исток.
Не следил ее перемены,
И вдруг, о Боже мой!
Совсем другие стены,
Когда я пришел домой!
Где бег коня без уздечки,
Капризных бровей залом?
Как от милой, детской печки
Вет родным теплом.

Широки и спокойны струи,
Как судоходный Дунай,
Про те, про те поделуи
Лучше не вспоминай!
Я солнце предпочитаю
Зайчикам мерклых зеркал,
Как Саул, я нашел и знаю
Царство, что не искал.
Спокойно-ль? Ну да, спокойно!
Тепло ли? Ну да, тепло.
Мудрое сердце достойно,
Верное сердце светло,
Зачем же я весь холодею,
Когда вас увижу вдруг?
И то, что выразить смею,
Лишь рожденный воздухом звук?

* * *

Тебе ль не петь прап хвалебный,
Мой мудрый рок, мой друг волшебный,
Мне давший сердцем позабыть,
Что время перестало быть?
В Патмоседе сказанные годы,
Когда веков живые воды
Полыню смертной потекли,
Когда из края в край земли
Под черным ветром несвободы
Свинцовою зыбью шли народы,
Ты опоясал Город мой
Войной, и голодом, и чумой,
Ты облачил его каменя
Порфирой дивной запустеня,
И он, как призрак, засверкал
Во льдах магических зеркал,
И ты меня, с больною кровью,
К его сиянью пронизал
Последней, вещею любовью,
И нежный, и безумный яд
Впивал мой обреченный взгляд,
И я бродил по стогнам сонным,
Как бы в бреду преображенным,
Познав впервые благодать
Внимать и видеть, помнить, ждать.

Тебе ль не петь праан высокий,
Мой мудрый рок, мой друг жестокий,
Мне завещавший каждый день
Вступать в торжественную сень,
Где меркнет свет, где молкнут звуки,
Чтобы, пlying над тишиной,
Опять прошли передо мной
На литургии древней муки,
Как нерожденная гроза,
Тысячелетние глаза .
И с цепью маленькие руки,
Похожие на крик разлуки...

1919.

TRISTIAE

4.

Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных,
Жуют волю и длится ожиданье,
Последний час вигилий городских.
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда подняв дорожной скорби груз,
Глядели в даль заплаканные очи
И женский плач мешался с пеньем муз.

2.

Кто может знать при слове расставанье,
Какая нам разлука предстоит,
Что нам сулит петушьё восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит,—
И на заре какой-то новой жизни
Когда в сених лениво вол жуёт,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьет.

3.

И я люблю обыкновенье пряжи,
 Снует челнок, веретено жужжит,
 Смотри: навстречу, словно пух лебяжий,
 Уже босая Делия летит.
 О, нашей жизни скудная основа,
 Куда как беден радости язык,
 Все было встарь, все повторится снова
 И сладок нам лишь узнаванья миг.

4.

Да будет так: прозрачная фигурка
 На чистом блюде глиняном лежит:
 Как беличья распластанная шкурка,
 Склонясь над воском, девушка глядит.
 Не нам гадать о греческом Эребе,
 Для женщин воск—что для мужчины медь,
 Нам только в битвах выпадает жребий,
 А им дано, гадая, умереть.

120760

ЧЕРЕПАХА

1

На каменных отрогах Пиэрии
Водили Музы первый хоровод,
Чтобы, как пчелы, лирники слепые
Нам подарили ионийский мед.
И холодком повеяло высоким
От выпукло-девического лба,
Чтобы раскрылись правнукам далеким
Архипелага нежные гроба.

2

Бежит весна топтать луга Элады,
Обула Сафо пестрый сапожок,
И молоточками куют цикады,
Как в песенке поется, перстенок.
Высокий дом построил плотник дюжий,
На свадьбу всех передушили кур,
И растянул сапожник неуклюжий
На башмаки все пять воловьих шкур.

Нерасторопна черепаха лира
 Едва-едва беспалая ползет,
 Лежит себе на солнышке Эпира
 Тихонько грея золотой живот.
 Ну кто ее такую приласкает?
 Кто спящую ее перевернет,
 Она во сне Терпандра ожидает,
 Сухих перстов предчувствуя полет.

Поит дубы холодная криница,
 Простоволосая бежит трава,
 На радость осам пахнет медуница,
 О где же вы, святые острова,
 Где не едят надломленного хлеба,
 Где только мед, вино и молоко,
 Скрипучий труд не омрачает неба
 И колесо вращается легко.

ПЕТУХ

Сонет

Летимте, души, к молчаливым совам:
Среди крестов и надписей, в тени,
Мерцают негасимые огни
Округлых глаз над погребенным словом!

— Нет, страшно нам на кладбище суровом,
Нет, соловьиным голосом мани
Туда, где перламутровые дни,
Где сердце зреет розаном пунцовым!

— Хотите лжи над горем и грехом?
Но слыше голос Вифлеемской силы:
— Вещай-восход предутренним стихом,
Не будь совой, подругою могилы,
Ни соловьем, чьи песни летом милы,
А пестрым звонкогорлым петухом!

ЗВЕЗДНЫЙ КОТЕЛ

Синий суп в звездном котле,
Облаков лимонные роши,
А на маленькой круглой земле
Едет жучок—извозчик.....
«Погоняй, извозчик, скорей...
Направо... у тех дверей!..»

«Дай-ка сдачи! Ну же, проснись!..»
Фонари у парадного стойла,
Но клячонка глянула ввысь
И хлебнула небесного пойла...
Сдачи? Неуловима, нет,
Еле зрима я пыль монет!

Только бы устоять на ветру,
Сдунет, сдунет с земли покатою
В синюю, как море, дыру
С западной каймой розоватой..
Тонет, тонет в котле золотом
Мой извозчик с тонким кнутом!

Вот еще колея и грязь—
Все следы осеннего плача—
Но мелькнули спицы, взнесясь,
Как комарик пискнула кляча...
Я один на гладкой земле—
Крошка хлебная на столе.

Больше не вздремнет у ворот
Мой неуследимый извозчик,
Звездочету ли брань пошлет
В телескоп голодный и тощий?
Чуть приметна колес стезя...
Верно и в телескоп нельзя?..

Улетай, улетай, улетай!
Устою ли, к дверям прижатый?
Как песчинка сам невзначай
Пролечу по земле покатою;
Словно сахар в горячей мгле
Распущусь в золотом котле.

С О Н

Я проснулся, крича от страха,
И подушку и одеяло
Долго трогал руками, чтобы
Снова хобот его с размаха
Не швырнул меня прямо в небо
Или в сумрак черной утробы.
Никого с такими клыками
И с такими злыми глазами
Я не видел, о, я не видел,
И такого темного леса
И такого черного страха
Я не ведал, о, я не ведал.
Я зажег свечу и поставил
Трепетно к изголовью...
Чтоб утишить биенье сердца
Взял трактат о римском праве
И раскрыл его на «условье
Действительной купли-продажи».
Я пошел и жены, спокойно
Спавшей, волосы поцелуем
Шевельнул и вернулся тихо,
Но едва задремал я, бурно
Зазмеился песок, волнуем
Винтообразным ветром.

Длинношею голову скрыл я,
И мою двугорбую спину
Охватило ветром свистящим
И от свиста стал я змеиться
И пополз, удавом, в долину
И проснулся вновь настоящим.
Но подумал, строгий и гордый:
То далекой памяти море
Мне послало терпкие волны.
Разрывая тела и морды,
Море памяти мне отворит
Настоящее счастье жизни.

* * *
На палубе разбойничьего брига
Лежал я, истомленный лихорадкой,
И пить просил. А белокурый юнга,
Швырнув недопитой бутылкой в чайку,
Легко перешагнул через меня.
Тяжелый полдень прожигал мне веки,
Я жмурился от блеска желтых досок,
Где быстро высыхала лужа крови,
Которую мы не успели вымыть
И отскоблить заржавленным ножом.
Неповоротливый и сладко липкий
Язык заткнул меня, как пробка флягу,
И тщетно я ловил хоть каплю влаги,
Хоть слабое дыхание бананов,
Летающее с проклятых островов.
Измученный, я начинаю бредить,
И снится мне, что снег идет в Бретани,
И Жан, постукивая деревяшкой,
Плетется в старую каменоломню,
А в церкви слепнет узкое окно.

Б А Л Л А Д А

Это было в глухое время,
Наву ли, во сне — не знаю,
Ночью ставил я ногу в стремя
И давал жеребцу поводья.

А когда выгибал он шею,
Как я бил его толстой плетью,
Как боялся, что не успею
Перегнать грозовую темень!

Но земля широко стонала,
Отражая нас гулкой грудью,
Чаще звездное опахало,
Развиваясь, роняло перья.

О, скорее, не опоздать бы!
Я кричу, я глотаю ветер.
Это ночь нашей страшной свадьбы
С той, которой сейчас не спится

Если в башне огонь зеленый,
Если выйдет она навстречу,
Мне на надо моей короны,
От меня отступился дьявол.

* * *
В те времена дворянских привилегий
Уже не уважали санкюлоты.
Какие-то сапожники и воры
Прикладом раздробили двери спальни
И увезли меня в Консьержери.

Для двадцатидвухлетнего повесы
Невыгодно знакомство с гильотиной,
И я уже припомнил «Pater Noster»,
Но дочь тюремщика за пять червонцев
И поцелуй мне уронила ключ.

Как провезли друзья через заставу
Запрятанного в кирасирском сене,
В полубреду—рассказывать не стоит,
А штык национального гвардейца
Едва не оцарапал мне щеки.

Купцом, ветеринаром и аббатом
Я странствовал. Ниспровергал в тавернах
Высокомерие Луи Капета,
Пил за республику как друг Конвента—
(Тогда еще не умер Мирабо).

Хотел с попутчиком бежать в Вандею,
Но—мне претит мятежное бесчинство,
Я предпочел испанскую границу,
Где можно подкупить контрабандистов
И миновать кордонные посты.

И вот однажды, повстречав карету..
(Что увлекательнее приключений,
Которые читаешь словно в книге?)
Увидел я... Благодарю вас, внучка,
Какое превосходное вино!

ГОСПОЖА СКЛОКА

Имя странное чуть слышу,
Говорит едва дыша,
Точно дождь упал на крышу,
Сором брошенным шурша.
Я — медлительная Склока.
Знаю, знаю, кто она,
Та, что мучит нас жестоко,
Так угрюма и темна.
— Ждешь ли песни лебединой? —
Жду с надеждой, госпожа.
— Лебедь стонет пред кончиной. —
Знаю, знаю, госпожа.
Ворожить и я умею.
Что за мудрость ворожба?
Если ночью верить смею,
Что мне темная судьба?
Пусть приходит, пусть уносит
Все, чем жизнь моя светла.
Плен душа охотно бросит,
Устремляясь, как стрела.
— Но боишься? Но трепещешь? —
Да, боюсь, госпожа.
— Душу каплями расплещешь, —
Знаю, знаю, госпожа.

СОН ПОХОРОН

Злом и тоской истомленный,
Видел я сон,
Кем, я не знаю, внушенный,
Сон похорон.
Мертвый лежал я в пустыне,
Мертвой, как я.
Небо томительно сине.
В небе горела Змея.
Тело недвижимое тело,
Тление — жгучая боль,
И подо мною хрустела,
В тело впиваясь, соль,
И над безмолвной пустыней
Злая Змея
Смрадной, раздутой и синею
Падалью тела, как я.
К позолоченной могиле
Ладанно-мертвой земли
В облаке пламенной пыли
Мглистые кони влекли
Огненный груз колесницы,
И надо мной
С тела гниющей царицы
Пал расплавленный зной.
Злом и тоской истомленный,
Видел я сон,
Дьяволом, Богом внушенный?
Сон похорон.

З А К А Т

Могучий хвост купая в бездне вод
И в небе разметаив блистательную гриву,
Он умирал.
Над ним обширный свод,
Подобие палатки прихотливой
Коврами пышными и пухом райских птиц
Был тщательно разубран.
Мы ж, во прахе
Простерты, пред ним лежали ниц,
И до тех пор в благоговейном страхе
Покойлись, пока резец серпа
Не врезался в лазурь небесного герба.

ПОЭМА НАЧАЛА

Книга первая

ДРАКОН

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

1

Из за свежих волн океана
Красный бык приподнял рога,
И бежали лани тумана
Под скалистые берега.
Под скалистыми берегами
В многошумной сырой тени
Серебристыми жемчугами
Оседали на мох они.
Красный бык изменяет лица:
Вот широко крылья простер,
И парит, огромная птица,
Пожирающая простор.
Вот к дверям голубой кумирни,
Ключ держа от тайн и чудес,
Он восходит, стрелок и лирник,
По открытой тропе небес.
Ветры, дуйте, чтоб волны пели,
Чтоб в лесах гудели стволы,
Войте, ветры, в трубы ущелий,
Возглашая ему хвалы!

Освежив горячее тело
Благовонной ночью тьмой,
Вновь берется земля за дело
Непонятное ей самой.
Наливает зеленым соком
Детски-нежные стебли трав
И багряным, дивно-высоким,
Благородное сердце льва.
И, всегда желая иного,
На голодный жаркий песок
Проливает снова и снова
И зеленый и красный сок.
С сотворенья мира стократы,
Умирая, менялся прах,
Этот камень рычал когда-то,
Этот плющ ларил в облаках.
Убивая и воскрешая,
Набухать вселенской душой,
В этом воля земли святая,
Непонятная ей самой.

Океан косматый и сонный,
Отыскав надежный упор,
Тупо терся губой зеленой
О подножие Лунных Гор.
И над ним стеною отвесной
Разбежалась и замерла,
Упираясь в купол небесный,
Аметистовая скала.
До глубин ночами и днями
Аметист светился и цвел
Многоцветными огоньками,
Точно роем веселых пчел.
Потому что свивал там кольца,
Вековой досыпая сон,
Старше вод и светлее солнца
Золоточешуйный дракон.
И подобной чаши священной
Для вина первозданных сил
Не носило тело вселенной
И Творец в мечтах не носил.

Пробудился дракон и поднял
Янтари грозовых зрачков,
Первый раз он взглянул сегодня
После сна десяти веков.
И ему не казалось светлым
Солице юное для людей,
Был как будто засыпан пеплом
Жар пылавших в море огней.
Но иная радость глубоко
В сердце зрела, как сладкий плод,
Он почуял веянье рока,
Милой смерти неслышный лет.
Говор моря и ветер южный
Заводили песню одну:
— Ты простишься с землей ненужной
И уйдешь домой, в тишину.
— О твое усталое тело
Притушила жизнь острие,
Губы смерти нежны, и бело
Молодое лицо ее. —

А с востока из мглы Белесой,
Где в лесу змеилась тропа,
Превышая вершину леса
Ярко-красной повязкой лба,
Пальм стройней и крепче платанов,
Неуклонней разлива рек,
В одеяньях серебротканых
Шел неведомый человек.
Шел один, спокойно и строго
Опуская глаза, как тот,
Кто давно знакомой дорогой
Много дней и ночей идет.
И казалось, земля бежала
Под его стопы, как вода,
Смоляною доской лежала
На груди его борода.
Точно высечен из гранита
Лик был светел, но взгляд тяжел,
— Жрец Лемурии, Морадита
К золотому дракону шел.

Было страшно, точно без брони
Встретить меч разящий в упор,
Увидать неожиданно драконий
И холодный и скользкий взор.
Помнил жрец, что десять столетий
Каждый бывший здесь человек
Видел лишь багровые сети
Крокодильих сомкнутых век.
Но молчал он и черной пикой
(У мудрейших водилось так)
На песке пред своим владыкой
Начертал таинственный знак:
Точно жезл во прахе лежавший,
Символ смертного естества,
И отвесный, обозначавший
Нисхождение божества,
И короткий, меж них сокрытый,
Точно связь этих двух миров..
— Не хотел открыть Морадита
Зверю тайны чудесной слов.

И дракон прочел, наклоня
Взоры к смертному в первый раз:
— Есть, владыка, нить золотая,
Что связует тебя и нас.
— Много лет я провел во мраке,
Постигая смысл бытия,
Видишь, знаю святыя знаки,
Что хранит твоя чешуя.
— Отблеск их от солнца до меди
Изучил я ночью и днем,
Я следил, как во сне ты бредил.
Переменным горя огнем.
— И я знаю, что заповедней
Этих сфер, и крестов и чаш,
Пробудившись в свой день последний,
Нам ты знание свое отдашь.
Зарожденье, преображенье
И ужасный конец миров
Ты за ревностное служенье
От своих не скроешь жрецов.

Засверкали в ответ чешуи
На взнесенной мостом спине,
Как сверкают речные струи
При склоняющейся луне.
И кусая губы сердито,
Подавляя потоки слов,
Стал читать на них Морадита
Сочетанье черт и крестов:
— Разве в мире сильных не стало,
Что тебе я знанье отдам?
Я вручу его розе алой,
Водопадам и облакам;
Я вручу его кряжам горным,
Стражам косного бытия,
Семизвездию, в небе черном
Изогнувшемуся, как я;
Или ветру, сыну Удачи,
Что свою прославляет мать,
Но не твари с кровью горячей,
Не умеющею сверкать!—

Только сухо хрустнула лика,
Переломленная жрецом,
Только взоры сверкнули дико
Над гранитным его лицом
И устались непреклонно
В муть уже погухавших глаз
Умирающего дракона,
Повелителя древних рас.
Человечья теснила сила
Нестерпимую ей судьбу,
Синей кровью большая жила
Налилась на открытом лбу,
Приоткрылись губы и вольно
Прокатился по берегам
Голос яркий, густой и полный,
Как полуденный запах палым.
Первый раз уста человека
Говорить осмелились днем,
Раздалось в первый раз от века
Запрещенное слово : Ом!

Солнце вспыхнуло красным жаром
И надтреснуло. Метеор
Оторвался и легким паром
От него рванулся в простор.
После многих тысячелетий
Где-нибудь за Млечным Путем
Он расскажет встречной комете
О таинственном слове Ом.
Океан взревел и взметенный
Отступил горой серебра,
Так отходит зверь, обожженный
Головней людского костра.
Ветви лапчатые платанов,
Распластавшись, легли в песок,
Никакой напор ураганов
Так согнуть их досель не мог.
И звенело болью мгновенной
Тонким воздухом и огнем,
Сотрясая тело вселенной,
Заповедное слово Ом.

Содрогнулся дракон и снова
Устремил на пришельца взор,
Смерть боролась в нем силу слова,
Незнакомую до сих пор,
Смерть, надежный его союзник,
Наплывала издалека,
Как меха исполинской кузни,
Раздувались его бока.
Когти лап в предсмертном томленьи
Бороздили поверхность скал,
Но без голоса, без движенья
Нес он муку свою и ждал.
Белый холод последней боли
Плавал по сердцу и вот, вот
От сжигающей сердца воли
Человеческой он уйдет.
Понял жрец, что страшна потеря
И что смерти не обмануть,
Поднял правую лапу зверя
И себе положил на грудь.

Капли крови из свежей раны
Потекли, красны и теплы,
Как ключи на заре багряной
Из глубин меловой скалы.
Дивной перевязью священной
Заделали ее струи
На мерцании драгоценной
Золотеющей чешуи.
Точно солнце в рассветном небе
Наливался жизнью дракон,
Крылья рвались по ветру, гребень
Петушиный встал, обагрен.
И когда без слов, без движенья,
Взором жрец его вновь спросил
О рожденьи, преображеньи
И конце первозданных сил,
Переливы чешуй далече
Озарили уступы круч,
Точно голос нечеловечий,
Превращенный из звука в луч.

ПРАЗДНИК

— Лаборатория для медицинских исследований, —
— Зайду, отдам свою кровь исследовать, —
Пусть посмотрят, из чего состоит моя кровь;
Конечно, там нет ни разных спиралей, ни зачатых, ни
палочек,
Может быть, найдут в ней что-нибудь новое,
От чего я такой органичный, — величественный, простой и
радостный...

Сегодня день моего рожденья;
Мои родители, люди самые обыкновенные,
Держали меня в комнатах до девятилетнего возраста,
Заботились обо мне по-своему,
Не пускали меня на улицу,
Приучили не играть с дворовыми мальчиками,
А с моими сестрами сидеть скромно у парадной лестницы
На холщевых складных табуретках.
Отец мой садился рядом со мною,
Рассказывал неинтересное
О каких-то своих турецких походах.
Вечерами я садился возле окошка,
Смотрел на улицу, на фонари керосиновые,
А отец мыл чайные чашки и стаканы,
И не потому, что у нас прислуги не было,
А потому, что ему нечего было делать,
Как всякому отставному воину;
При свете утра и стеариновой свечки,
Когда в комнатах тени желтоголубые,

Я сам научился читать азбуку;
Мне также хотелось учиться музыке,
Но на нашем рояле не действовали клавиши;
Я тихо плакал, когда пели в русском соборе,
И в особенности, когда в костеле орган играет;
У меня не было ни богатой библиотеки,
Ни бонн, ни гувернанток, ни хороших учительниц,
Была картавая белобрысая барышня,
Немка Люция Эдуардовна Виссор;
К гимназическому экзамену
Меня приготавливал бритый восьмиклассник...
Как его фамилия?—кажется, Швейдель.
Был я мальчиком скромным, боязливым,
Не дружился с товарищами,
Перешел в следующий класс с листом похвальным;
Через год меня взяли из гимназии,
Продали за пять рублей мое пальто гимназическое,
Увезли из южного города,
Отдали весной в казенный пансион.
Помню—мои новые товарищи
Меня больно поколотили
За то, что как-то сказал я,
Совсем для себя неожиданно,
Что я выше всякого начальства
И что, по-моему, бога нет...
Нет ничего хуже, чем жизнь в общежитии,
— Зачем меня отдали в казенное здание,—
Я так завидовал гуляющим гимназистам.
Потом,—военная служба, то-же общежитие,
Люди для меня из школьных зверенышей
Превратились тогда в двулапых животных.
Потом—война... только глупые, или корыстные
Могут подставлять свои лбы под гранаты,
Быть героями в стадных делах;
Я, сидя в окопах, однажды не вытерпел.

Схватил револьвер, обернул дуло тряпкою,
Приделался, выстрелил в нижнюю часть ноги,
Промалхнулся,—отлетел только сапожный ремень...
А теперь, наконец, я свободен,
Могу зажечь своею жизнью,
Могу носить не казенное платье,
Могу гулять, когда мне вздумается,
Могу заниматься делами любимыми,
Могу жить в собственной квартире в полном одиночестве!
— Вот почему я такой радостный,
А кровь у меня, как у всех людей,
С разными там инфузорными палочками!..
Но всетаки удивительно,
Если вспомнить мое прошлое,
Отчего я как-то сам по-себе знаю все, что мне нужно,
Отчего стал я радостным, успокоенным, дерзающим,
Безгрешным, нечувствующим ни к кому ни малейшей
злости,
Требующим только одного от своих современников—
—Они должны знать мою фамилию;
Отчего ощутил себя человеком будущего,
Нелюбящим ни религии, ни таинственностей, ни отечества...
Пойду в закусню,—закажу себе обед именинный...
— Зачем вы, гражданин, толкаетесь и хихикаете?—
Это я толкаюсь?—нисколько; ну тогда простите...
И теперь в моей новой, моей радостной жизни
Нужны мне друзья,—люди на меня, хоть немного, похожие.
Хочется крикнуть евангельским голосом,
Как принято, когда хотят сказать торжественное:
— Приидите ко мне все дерзающие,
Величественные, полнотелье, лицом прекрасные,
Свободные и простые,
Разгуливающие праздно по улицам,
Живущие только для того, чтобы жить!

РОБЕРТ ПЕНТЕГЬЮ

Возле церковной ограды дом,
Живет в нем веселый могильщик Том
С женой своей Ненси и черным котом.
Если поют колокола, —
Новая к Богу душа отошла.
Роет могилу веселый Том,
Мертвому строит уютный дом.

Вечером как-то могилу он рыл.
Было уж поздно, и солнце зашло.
Тому не страшно между могил,
Могильное любит он ремесло.
Окончив работу, идет он домой
Вполне довольный судьбой такой.
В сумерках зимних блеснули огни,
Словно мерцанье церковных свеч.
Том прошептал: — Господь, сохрани!
Вдруг он услышал людскую речь.
Кто-то зовет его: Том, эй, Том!
В страхе он оглянулся кругом.
На свежей могиле уселись в ряд
Девять котов, и глаза их горят.
Том закричал: Кто меня зовет?

— Я,—отвечает огромный кот.
Шляпу могильщик снимает свою,
Никогда не мешает вежливым быть.
— Чем, сэр, могу я вам служить?
— Скажите Роберту Пентегью,
Что Молли Грей умерла.
Не бойтесь, вам мы не сделаем зла.
И с громким мяуканьем девять котов
Исчезли в темной чаще кустов.
Ненси пряжу прядет и Тома ждет,
Сонно в углу мурлычет кот.
Том вбегая кричит жене:
— Ненси, Ненси, что делать мне?
Роберту Пентегью я должен сказать,
Что Молли Грей кончила жизнь свою.
Но кто такой Роберт Пентегью?
И как я могу его сыскать?
Тут выскочил черный кот из угла
И закричал: Как? Молли Грей умерла?
Прощайте. Пусть Бог вам счастье пошлет.
И прыгнул в окошко черный кот.

Динь-дон, динь дон, динь динь дон,
Похоронный утром несется звон.
Десять юношей в черных плащах
Белый гроб несут на плечах.
— Кого хоронят?—Том спросил
У Сэма уборщика могил.
— Никто не слышал здесь раньше о ней,
Зовется она Молли Грей.
И юношей этих не знаю совсем,—
Ответил Тому уборщик Сэм.
И плюнул с досады. А Том молчал.
Ни слова Сэму он не сказал.

Я слышала в детстве много раз
Простонародный этот рассказ,
И пленил он навеки душу мою:
Ведь, я тоже Роберт Пентегью,
Прожила я так много кошачьих дней,
Когда-же умрет моя Молли Грей?

ОСЕНЬ

I

Осень осыпает листья—
Отменили трамвайные билеты.
Пороша по первопутку—
Нафталин отрясается с шубы,
Ее достают из красного
Сундука, где она лежала летом—
Даже заяц к зиме красит шкуру!
Слишком долго домов не чинили—
Оползают песчаные дюны,
Осыпается штукатурка—
Ветер времени стены обветрил—
 Это осень, Елена!

Я спешу в осеннем трамвае,
Он осыпал листья билетов,
И стоит кондуктор, как дерево
Голое под влажным ветром.
Покрывая птичий дискант
И позваниванья трамвая,
Слева ухнул каменный бас:
«Ты скажи, дом Зингера с шаром
Прозрачным на руках у женщин
Над стеклом и железом крыши,

Любишь ли ты позднюю осень?»
И с пролета передней площадки
Гранитный дом Вавельберга
Мне сверкнул озерами стекол
Зеркальных с переливами такими,
Как на глади озер Женевских,
Когда в их холоде зыбком
Радуга изогнется.
Я услышал ответ, Елена:
«Мы ничем не хуже Монблана,
Может быть, поменьше и только,
Жаль тебе осеннего снега?
Пусть и наши кряжи белеют!
Есть архангелы-небоскребы
В райских кущах Нью-Йорка —
Эти не чета Гималаям:
Поживей каскадов брызгливых
Освежают их паровозы —
На плато бетонных площадок
Садятся гарпии — птицы —
И проглатывают шум и ветер
Стальными клювами — винтами!
Мы печами делаем лето.
В наших раковинах плачет осень!
И я слышал, где-то на Охте
Фабрика одобрительно завывла
Протяжным гудком вечерним;
«Да, мы лучше гор сотворенных
Косолапым отцом Вселенной!»
А дома вздохнули так громко,
Как пролетный ветер в ущелье
Вздохами морского прибоя.
Ветер распластался словами:
«Для Поэта, Бога и Неба
Одинаковы и бессмертны

Здания и снежные кряжи,
Улицы и легкие реки,
Листопад, отмена билетов,
Нафталиновый снег и пороша!»
Так я встретил осень, Елена!

II

Ты не слышала тяжких камней,
Только ветер с моря коснулся
Ситцевых занавесок белых
В окне деревянного дома
Против Тучкова Буяна.
Ты томилась встречей осенней,
И дрожью милой газели
Трепетало легкое тело
С родинкой на левой груди!
Жаль, что утром плохо кормили
Голубым электрическим сеном
Добрые стада трамваев
И они от голода стали,
Грустно глядя друг другу под номер.
Мне пришлось по талому снегу
Хлюпая, пешком пробираться
К этой густолиственной сени
Голубых с цветами обоев,
К шелковой мураве дивана!
Надеди из ключа кувшина
Мне холодной влаги: устал я,
Пробираясь к милой дубраве.
Ах, костер развела ты в печке!
Сядем на пол, красный от света,
Дай мне руки: осень шагает
По зеленым Невским зыбям,

А мы с тобою, как будто
Негр и негритянка
Под летним потолком неба
У костра африканской луны.
Ведь для негра мускусный запах
Кожи милой и шлепающие губы—
Такая же дорога к бессмертью,
Как для меня завиток волос
Твоих — за коралловым ухом;
Где кожа так душно пахнет,
Как дорожки «Летнего сада»:
Червонной вервеной листьев,
В холодеющем ветре поэм,
Осенних поэм,
Елена!

ОТРЫВКИ ИЗ ГЛОССОЛАЛИИ *)

(Поэмы о звуке)

1

Глубокие тайны лежат в языке.

В громе говорюв — смыслы огромного слова; но громы говорюв и мгновенные молнии смыслов укрыты метафорным облаком, проливающим из себя в волне времени линии неизливных понятий; и как не схожи нам ливень, грома, облака, так не схожи и смыслы звучаний и образы слова; от них сухой, плоский, ц о н я т и й н ы й смысл.

Что такое земля?

Она — лава; лишь корост кристаллов, камней сковал пламень, и рокоты лавы бьют в жерла вулканов; и верхний пласт земли так тонок; покрыт он травой.

Так слово, которое — буря расплавленных ритмов звучащего смысла; толщею кремнистых корней эти ритмы окованы; пылкий смысл утаен; верхний пласт — слово-образ (метафора); его звук, как гласит нам история языка, только склейка раз'еденных, раз'едаемых звуков; его образ — процесс разрушения звука; и смыслы обычного

Глоссология полностью выйдет в непродолжительном времени в изд — ве «Дракон».

слова — трава — начинают расти из него; падение фонетической чистоты есть развитие диалектической пышности; и падение пышности термин, есть осень для Мысли.

Бурный пламень, гранит, глина, травы — не схожи; не схожи нам смыслы: понятий, метафор, корней и движений воздушной струи, построющей звуки в огромнейшем космосе (в полости рта).

2

Некогда не было знаков, «земель», ни кремней, ни гранитов; был — пламенный; распускались по Космосу лопасти летучего газа; земля клочкотала огнистым цветком; развивалась, свивалась она из космической сферы; и жесты огней бытия повторили позднее себя: в лепесточках цветов; оттого-то космический свет — цвет полей; все цветы — напоминания об огнях безграничной космической сферы, все слова — напоминания о звуке старинного смысла.

Некогда не было в нашем смысле понятий: понятийный корост обстал образ слова; некогда не было самого образа слова: образы обложили позднее безобразный корень; ранее не было корня; все корни — змеинные шкурки; змея же живая — язык; некогда та змея была струями, нёбо же — парусом ритмов, несущих; космос, твердея, стал полостью рта; струя воздуха — эта танцовщица мира — язык наш.

Прежде явственных звуков в замкнувшейся сфере своей, как танцовщица, прыгал язык; все его положения, перегибы, прикосновения к нёбу и игры с воздушной струей (выдыхаемым внутренним жаром) сложили во времени звучные знаки — спиранты, сонанты: оплотнели согласными; и — отложили массивы из взрывных: глухих (p, t, k) и звучащих (b, d, g).

Игры танцовщицы с легкой, воздушной струей, точно с газовым шарфом — теперь нам невняты.

Сочетания звуков, слагаясь, ссыпаясь, ссыхаясь, отяжелили наречия; словари звуко-образов, бременя память нам, не взирают нам в душу былым своим, явственным жестом; ясность звучного смысла в умении видеть танцы танцовщицы с шарфом — воздушной струей; темнота же его в словарях, из которого понастроены человечеством храмы наречий.

Все движение языка в полости рта — жест безрукой танцовщицы, завивающей воздух, как газовый, пляшущий шарф; разлетаясь в стороны, концы шарфа щекочат гортань, и — раздается сухое, воздушное, быстрое «h», произносимое как русское «ха»; жест раскинутых рук (вверх и в сторону) — «h».

Жесты рук отражают все жесты безрукой танцовщицы, пляшущей в мрачной темнице, под сводом неба; и безрукую мимику отражает движение рук; те движения — гиганты огромного мира, незримого звуку; так язык из пещеры своей управляет громадою, телом; и тело рисует нам жесты; и бури смысла — под ними.

Жест руки наш безрукий язык подглядел; и повторил его звуками; звуки ведают тайны древнейших душевных движений; так как мы произносим звучащие смыслы словес, так творили нас некогда: произносили со смыслом; наши звуки — слова — станут миром: творим человек из слов; и слова суть поступки.

Звуки — древние жесты в тысячелетиях смысла; в тысячелетиях моего грядущего бытия прольет мне косми-

ческой мыслью рука. Жесты — юные звуки еще не сложившихся мыслей, заложенных в теле моем; во всем теле моем произойдет с течением времени то, что происходит пока в одном месте тела: под лобною костью.

Перепо́днится мыслью все тело мое.

6

Видал я эвритмистку: танцовщицу звука; она выражает спирали сложенья миров; и — все они мироздания; выражает, как нас произнес Божий Звук; как в звучаниях мы полетели по космосу; солнца, луны с земли горят в ее жестах; аллитерации и ассонансы поэты впервые горят.

Будут дни: то стремительно вытянув руки, то их опуская, под звезды развеет нам рой эвритмисток священные жесты; на линии жестов опустятся звуки; и — светлые смыслы сойдут. Жестикуляция, эвритмия — искусство словесности; филология в наши дни есть искусство медленных чтений; в грядущем она — быстрый танец всех звезд: зодиаков, планет, их течений, горений; узнания мудрости — ноты и танцы; умение жестом выстроить мир означает, что корень сознания вскрыт: мысль срослась со словом; выражение звука есть знание; ответ на вопрос есть мимический жест, изображающий жизнь вопроса во мне; без умения изображать жизнь вопроса нам нет разрешений вопроса.

Видал эвритмию (такое искусство возникло); в нем знание шифров природы; природа осела землею из звука; на эвритмистке червонится звук; и природа сознания в нем; и эвритмия — искусство познаний; здесь мысль льется в сердце; сердце крылами-руками без слов говорит; и двулучие рук говорит.

Эвритмию — опускали нас духи на землю; мы в них точно ангелы.

Видел я эвритмисток (близ купола, крепкого звуком):
их шарфы метались; и дугами крылий качались их руки;
и опускались их шарфы; бывало, стоит та и эта и — про-
тянет к нам руки, рисуя далекие звуки; казалось: за ней
кто-то есть; и расколами звука — блестит сама Древность: —

— В древнейшей Аэрии, в «Аэре», жили когда-то мы,
звуки; и звуки и доселе живут; звукословием выражаем
мы их.

Рудою солнца посеян свет,
Для вечной правды названья нет.
Считает время песок мечты,
Но новых зерен прибавил ты...
На крепких стгах воздетых рук
Возводит церкви строитель звук.

(Сергей Есенин).

11

Можно ли, мысль мгновенно, обнять круг понятий?
В usu's'e словесного выражения — нет: понятие отделено
от понятия непреходимыми безднами; так ответят нам
логики; вскроют суждение — переход от понятия к поня-
тию — как огромный процесс, напоминающий космос, в
котором понятия — звезды — отделены друг от друга без-
мерными безднами; чувственность — [бездны эти.

Современные гносеологи осознали трагедию обремененья
понятия образом; художники слова создали трагедию:
обременения образа схемой, и образ, и корень, взаимно
ломаю друг друга, ломают нам смысл; и градации слыслов,
порвавшие все связи друг с другом, стоят перед нами;
слепые, глухие, немые — стоим перед ними; и восставая
грамматикой против смысла понятийных взятий, и вос-
ставая из логики против образных восприятий понятий —
терзая себя, истерзали слова.

Но ствол **общий**, иль корень, подпочвенен, темен и глух: его смысл — запорожен; пороги сознания шатки; в неосторожном разбитии их нам слова, за порожды, грозят темным наскоком; насилием крика над толком. Стремление пересоздать смыслы слов очень часто — **безумие**.

И всетаки: образ мысли, понятие суть зависимые переменные слова; независимая, непременная величина его — звук; и он нудит, зовет за порог: в ночь безумия, в мироздание слова, где нет ни понятия, ни образа слова — есть твердь — и пуста и безводна она, но дух Божий над нею.

12

Образ нудит нас видеть; и не дает проницаний; видения носятся; и — непонятны они; такой призрак есть видимость.

Что мы видим извне — часть возможного; динозавры не видимы в круге теперешней жизни; и в материальных условиях не возникает кентавр; но он — есть; наше внешнее виденье — малая часть наших ведений; глагол видеть есть в сущности ведать: и виды суть Веды; ведун видит больше.

Обставшая видимость (купол неба) могла бы такую не быть, а быть **клокотаньем кипящих, светящих фантастов**: орнаментом линии, **ежесекундно** меняющим очертание; вся история орнаментального творчества нам являет действительность, аналогичную нашей; здесь сложится **бегущие** линии; и обвисают гирляндой, откуда выходят драды и фавны, отваливаясь от их родивших гирлянд: хвостик фавна в истории живописи — черенок, соединявший его с стебельком; рядом с логикой данной природы есть логика **архитектоники** линий: природа фантазии; в ней природа, пленившая нас, — лишь момент, лишь абстракция

круга; в круге не данных природ протекает природа нам данная; данность ее только малая часть; и лишь целое этой части — действительность.

Невозможное миру фантазии — сущее звука; область звука — в за-образном, в корневом, в прародимом.

13

Мир — абстракция круга миров; мир — момент мирозданий; понятие непонятно в понятии; эсотерический смысл его, круг, — это миф; но метафора, миф, об'яснима лишь в круге метафор; мифология мифологий — отсутствует; круг метафор не замкнут; смыкается звуком он; звук непосредственен; и мифология мифологией лежит в смысле звучности; непререкаемы звуки; я слышу g, r, то есть gr и не могу утвердить, что я слышу p, t; между тем образ птица в образованиях нашей души раздроблен (во мне он есть коршун, в другом он есть ласточка).

Образ слова не разрешает проблему познания речи.

18

Не забываю: я — субъективен; мои толкования — жалкие упражнения в уразумении письмен, устремленных на нас из-за бури свеваемых листьев усохшего смысла; самосознание звука в нас есть: но оно, как младенец, — едва открывает глаза в необ'ятность безобразно вставшего мира; безобразность поглядит на меня, и — отрясает мне внятицу обыденного слова; но я — не невежа: не варвар; я — только не еллин: я — скиф; в мир созвучий родился я только что; ощущаю себя в этом новом, открывшемся мире — переживающим шаром, многоочитым и обращенным в себя; этот шар, этот мир, есть мой рот; звуки

носятся в нем; нет еще разделения вод, ни морей, ни земли, ни растений — переливаются воздухо-жары, переливаются водо-воздушности: нет внятных звуков.

Ушел к себе в рот: подсмотреть мироздание речи: я буду рассказывать сказку, в которую верю, как в быль; сказка звуков пройдет: пусть для вас она — сказка; а для меня она — истина; дикую истину звука я буду рассказывать:

19

Из глубины божества вспыхнул план мирозданий.

И — не было: ни начал, ни архангелов, ангелов; не было человека, животных, трав, суши: само Божество не склонилось еще к месту мира: оно еще отлагалось обвалом: о развало дыру в самосознании духовных существ; но обвалы духовного мира — дары; их повергли в ничто, как жар жизни — Престолы; а Элогимы плотнили жару: — образовалось сознание жара и шара внутри Элогимов; самосознание Элогимов теперь пронизало себя; и — ощутило свое бытие (план физической жизни), как пышащий шар; и очами смотрело в себя: очи шара — случения элогимовых мыслей — себя ощутили, как самость тела: то было началом Начал; воплощались они.

Их работы — скульптурные слепки: тепло (или зачатки физических органов); мы — сознание органов — были вне органов мыслями мыслей Начал.

Действо жизни Начал, теплота, была суммой термических колебаний; во времени: времена истекли из Начал.

Протекал первый день: назывался Сатурном¹⁾.

¹⁾ Все рассказанное — переложение: См. Рудольф Штейнер: «Очерк Тайноведения».

Начался второй день ¹⁾).

Элогимы воззвали к сознанию; вызвали: воспомина-
ние своих действий (так мы: пробуждаясь, мы помним
работу вчерашнего дня). Встал Сатурн: «Воспоминание
было в Начале». Возникли Начала. И — Новое соверши-
лось: — в жар жизни Престолов повергли дары Херувимы;
и новые мысли, влагаясь в тепло, воплощались в тепле,
как архангелы; изменяли тепло, уплотняя его и тонча:
были вытканы элогимам две ткани: ткань света и ткань
огневая; как дым, закрывала она чистый свет; так возник
«Светоогнь». День второй, светоогненный — Солнце — бли-
стал; утончаясь, как Свет, и плотняясь в огневоздухи; там
обитали зачатки растений, сошедших на Солнце.

Жизнь Архангелов простиралась от света к стоянью
Престолов в местах, где теперь — Зодиак. И Престолы
вперяли безмолвные взоры свои; и очам излили на Солн-
це святости и блага.

И день второй кончился.

Переливаются светожары; и нет внятных звуков (со-
наны и взрывные не оплотнели еще); в моем пла-
менном рту все какие-то громорогие самороды; ушел к
себе в рот: подсмотреть мироздание речи; и еслибы
подсмотреть образование материков и морей ее жизни,
образование трав, рыб, всех гадов и птиц языка; еслибы
я восстал у себя самого (в своем рту), я вторично родился
бы, назвал все вещи.

Пародирюя себя самого, я скажу: —

Сознание, обнимая мне собственный звук, переживает
пока этот звук в Непроницаемой необ'ятности; тем не

¹⁾ См. Рудольф Штейнер: «Очерк Тайповедения»

мене, звук, проникаясь сознанием, пучится ростом; моя брeнная мысль не вошла в тело звука и — в месте звука еще ощущаю провал сознания; если бы —

— Мне суметь войти в звук, войти в рот и повернуть мне глаза на себя самого, стоящего по середине, внутри храма уст, то не увидел бы я языка, зубов, десен и мрачного свода сырого и жаркого нёба; я увидел бы небо; увидел бы солнце; космический храм бы возник, гремя блесками —

— и оттого-то все то, что меня окружает пространством и светами, звучно мне говорит; в звуком ведомо мне.

48

Иаз, Аз, Азия, Азы — влетает в Европу старинным звучанием: из Азии. В Кабале «Азией» именуется эфир света, невидный обычному оку; посвященные «Азию» видят; может быть, проступает она на заре: может быть, «Назарей» она, эта Азия; она — страна Господа; Азия — свето-воздух и «Азии» нет на земле, где она, там и Рай; Рай — Все — Азия; он — Пант-Азия; он — Фантазия; но Фантазия есть: там, за огненным облаком. Плыет облачный город, зажженный лучами; оттуда спустились мы все — из зарей, зари; «назарейми» были и мы — на заре. Но оттуда теперь гремит гром: брыжжет молния; это меч Херувима: стоит Херувим в облаках: — охраняет Эдем.

Знаю я: —

— страны света спустились лучами из древнего солнца: на зефиротах-лучах (зефиротами «Sephir-Iszira» зовет лучи мудрости).

Где она, Зефирей?

Пропала она.

И сохранилае в фантазии Греков: да, верили греки,

что где-то в Индии¹, в даях, блистает «златая земля»; и золотую ту землю назвали: Зофейрой, Офейрой.

Да, знаю:—

— Офейра — сияние, сказка лучей; то — Эфирия; но эфир охлаждается воздухом; он Аир.

В древней-древней Аэрии, в Аэре, жили когда-то и мы звуко-люди; и были там звуками выдыхаемых светов: звуки светов в нас глухо живут; и иногда выражаем мы их звукословием, глоссолалией.

Не встретит ответа
Средь шума людского
Из пламя и света
Рожденное слово.

«Re = Ra = Aer = Aes = Ao = Iao = ia».

И раздается, как отзвук далекий: «Я-Аз-Азия», «Ра-Ар-Яр», «Зар-Жар-Шар:—

— Zaratos, Zarel, Zaratustra.

Аэрия, милая — звуками, переливами слов среди убогой, разбитой, разорванной жизни тебя вспоминаю: приди.

«Аз с вами до скончания века».

49

Возникал третий день.

Атмосфера теплела: и вдруг озарилась, как память: и вдруг просветлела, как солнце, она; день второй. И вселенная сотрясалась от мощного гласа, летевшего в центре из глубин. Серафимы впервые склонились: сияющий диск, протянувши лучи, как рога, мелодично запел; в огневые пучины родные пучины звучаний излили, как мысли; и мысли входили в огни; были тучами ангелов, образовавших в огнях паро-образы: краски на свете; и

краски мутневшего блеска еще кипятились теплотами; свет отделялся от них, утончаяся звуками; и охладнев, они хлынули в лоно Луны волной вод; было ныне два тела: сверкавшие светочи; и их отражение — зеркало: Луна.

Третий день есть Луна.

В ней роились животности; тело вселенной теперь состояло: из звука, из света, из жара, огня, из лияний хладневшего пара.

64

День четвертый.

В начале его повторяются первые дни: выделяется свет; возникает Луна; тут начало творения мира по Библии; люди нисходят из мыслей духовных: влучаются в тело; пронесшие крест воплощений (Начала, Архангелы, Ангелы) — духи.

Зовут Божество.

И оно наклоняется к миру: спускается в круг Элогимов, соединяя его; соединение Элогимов, единство сознания его, есть божественный отблеск на нем; ему имя — Ягве-Элогим; соединенье зачатков, единство (сознание) их, это луч Элогимов-Ягве, нисходящий на землю: то «Я» — человека.

И — восстает Человек.

Образуется суша, тончится эфир звуковой в эфир жизни: соединение, разделение теперь есть сознательный, алхимический ритм; и проявление его — соединение звуков: и речь — образуется; речь есть тончайшее тело; и речь есть сознательность жизни; и все то, что течет в подсознании, как сродство, как атомность химизма, то — речь; элементы суть звуки; алфавит — название им. Воплощение соединений всех букв — человек существует, как

целостность многоразличия звуков; мы созданы словом; и словом своим создаем, нарицая, все вещи; именованье—творение; именованье—алхимический опыт соединения звуков.

Вот семь состояний земли: эфир жизни (иль силы сродства), эфир звуков (гармония сферы), эфир световой (или силы растений), тепло, огонь (воздух), вода и земля; и земле соответствуют семь состояний сознания: сознание соединения духа и тела (иль Аتما), сознание гармоний любви (или Будхи), сознание Мудрости Светлой (Свет-Разум, иль Манас), сознание «Я», состоянье сознания звездности мира (астральное тело), стихийности (элементарное тело, эфирное), данное нам состоянье (земное, абстрактное).

В том последнем живем мы ¹⁾.

Полость рта есть зародыш вселенной, грядущей когда-нибудь; как вселенная наша в день Солнца была нам иная: пески, травы и воды иначе себя выражали; так ныне во рту выражается то, что нам явно раскроется, когда мир изменится: станет Юпитером.

Север, запад, восток, юг грядущей вселенной гласят в храме звука особыми трубами; там—четыре престола: четыре архангела звука стоят и внимают велениям Старшего Брата... с Востока.

Так мы... говорим.

Эвритмия нас учит ходить—просто, ямбом, хореем, анапестом, дактилем; учит походкой выщербить лики и ритмы провозглашаемых текстов; линии шага виются узором грамматики; местоимение—линия эта; а та—есть глагол; этимология линий ветвится пестрейшею, синтаксической вязью; и оттеняемы: категории логики; можно добраться до логики звуковым изъяснением в пожарах бессмертия—сгибы руки.

Введены основные цвета: вызывает тепло беспокоящих

¹⁾ См. Рудольф Штейнер: «Очерк Тайноведения».

светочей красное, кажется — нападает на нас; нас ведет за собой голубое.

Делаю жесты ладонью к себе, образуя рукою и кистью отчетливый угол; то — значит: беру, нападаю, тревожу (жест красный); обратное есть «я даю» (голубое); меж синим и красным ложатся оттенки: то — зелено, желто, оранжево.

Краска, грамматика, логика, звук зажигают сияющей, переливчатой радугой; эвритмия легка, как пушинка, светла, как заря, и чиста, как алмаз.

Эвритмия — она: рассказ в жестах о том, что есть в нас, но чего мы в себе не узнаем без вскрытия недр, освещаемых ритмом тела: эфирного тела; оно вязь из них всех; и — «гнездалище» памяти; отражение эвритмических танцев, страны жизни ритма, — движение мозга: и — но-сороги понятий встают; и — проходят они толстостопною поступью всех двенадцати категорий.

Выпадение ритма крови, дыхания из лада стихийной игры есть распад огнемысли на стылые звуки и тусклый лик понятий и мыслим, и ходим, и дышим не так: мыслим вилами вместо кисти; задышим, — и будто

тяжелобойные,

скрежетолильные — —

(В. Иванов) — «ковачи»

раздувают меха (по В. Иванову — звуки цикад, а по моему звук кирки о булыжник); наше внимание вперяется в материальный процесс; звукоочно пепелится (среди кресел, вина, среди томов библиотеки и сигарного мнения); перемены мы внимание от материальных значений звучания мысли к иным, огнезвучным, определенной культурой в себе бы мы вызвали лад, зажигающий кровь и сластящий дыханье; и тело истаяло бы в веянье крыл, омывающих нас; глазами, движеньем, улыбкой сказали бы мы про опахало из веющих крыл, омывающих нас.

На эвритмии печать вольной ясности, смелости, трезвости, новой науки и танца; «плясуни легконогий» есть тот, кто облек ходы мысли в орнаменты ритма: он есть «Заратустра».

И легконогие мысли веселой науки грядут не стопою трактатов, а роем летуний, играющих шарфами:—

— видел я их в белом зале резном: под бирюзеющим куполом, сотканным тяжким трудом и алмазной любовью; и их же я видел за тяжелой работой: стучат молотками по дубу. Они уж года (да, года!!), но, юнея, они изливали свой свет в чистой зыби движений: планеты, и звезды струились слезами от них; становясь в полукруг, начинали: «В начале бе Слово». И в сочетании Слов—окрылением я вспоминал и стояли они; и—тянулись руками ко мне. —

— Может быть, в то время гремели огни ураганного залпа; и падали трупы; но эти чистые руки и бирюзеющий купол,—взлетали молитвой —

— к престолу Того, Кто с печалью взирает на ужасы, бойню, цотопы клевет, миллионы истерзанных трупов, замученных жизнью; и—братство народов я понял: в мимическом танце.

На крепких сгибах воздетых рук
Возводит церковь строитель звук.

(С. Есенин).

И бирюзеющий купол молчал; вечерело; оттуда, где гребни Эльзаса туманно протянуты издали, таявала пушка.

Да будет же братство народов: язык языков разорвет языки; и—свершится второе пришествие Слова.

АНАТОМИЯ СТИХОТВОРЕНИЯ

Среди многочисленных формул, определяющих существо поэзии, выделяются две, предложенные поэтами же, задумывавшимися над тайнами своего ремесла. Формула Кольриджа гласит: «Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке». И формула Теодора де-Банвиля: «Поэзия есть то, что сотворено и, следовательно, не нуждается в переделке». Обе эти формулы основаны на особенно ясном ощущении законов, по которым слова влияют на наше сознание. Поэтом является тот, кто учтет все законы, управляющие комплексом взятых им слов. Учитывающий только часть этих законов будет художником-прозаиком и не учитывающий ничего, кроме идейного содержания слов и их сочетаний, будет литератором, творцом деловой прозы. Перечисление и классификация этих законов составляет теорию поэзии. Теория поэзии должна быть дедуктивной, не основанной только на изучении поэтических произведений, подобно тому, как механика объясняет различные сооружения, а не только описывает их. Теория же прозы (если таковая возможна) может быть только индуктивной, описывающей приемы тех или иных прозаиков, иначе она сольется с теорией поэзии.

Кроме того, по определению Потебни, поэзия есть явление языка или особая форма речи. Всякая речь обращена к комунибудь и содержит нечто, относящееся как

к говорящему, так и к слушающему, причем последнему говорящий приписывает те или иные свойства, находящиеся в нем самом. Человеческая личность способна на бесконечное дробление. Наши слова являются выраженьем лишь части нас, одного из наших ликов. О своей любви мы можем рассказать любимой женщине, другу, на суде, в пьяной компании, цветам, Богу. Ясно, что каждый раз наш рассказ будет иным, так как мы меняемся в зависимости от обстановки. С этим тесно связано такое же многообразие слушающего, так как мы обращаемся тоже лишь к некоторой его части. Так, обращаясь к морю, мы можем отметить его родственность нам, или, наоборот, отчужденность, приписать ему заботу о нас, равнодушие или враждебность. Описание моря с фольклористической, живописной, геологической точки зрения, часто связанное с обращением, сюда не относится, так как явно, что обращение здесь лишь прием, и полинный собеседник—некто иной.

Так как в каждом обращении есть некоторое волевое начало, то поэт для того, чтобы его слова были действительными, должен ясно видеть соотношение говорящего и слушающего и чувствовать условия, при которых связь между ними действительно возможна. Это является предметом поэтической психологии.

В каждом стихотворении обе эти части общей поэтики дополняют одна другую. Теория поэзии может быть сравнена с анатомией, а поэтическая психология с физиологией. Стихотворение же это живой организм, подлежащий рассмотрению: и анатомическому и физиологическому.

Теория поэзии может быть разделена на четыре отдела: фонетику, стилистику, композицию и эйдологию. Фонетика исследует звуковую сторону стиха, ритмы, т. е. смену повышений и понижений голоса, инструментовку, т. е. качество и связь между собою различных звуков, науку об окончаниях и науку о рифме с ее звуковой стороны.

Стилистика рассматривает впечатление, производимое словом в зависимости от его происхождения, возраста, принадлежности к той или иной грамматической категории, места во фразе, а также группой слов, составляющих как бы одно целое, например, сравнением, метафорой и пр.

Композиция имеет дело с единицами идейного порядка и изучает интенсивность и смену мыслей, чувств и образов, вложенных в стихотворение. Сюда же относится и ученье о строфах, потому что та или иная строфа оказывает большое влияние на ход мысли поэта.

Эйдолология подводит итог темам поэзии и возможным отношениям к этим темам поэта.

Каждый из этих отделов незаметно переходит в другой, а эйдолология непосредственно примыкает к поэтической психологии. Разграничительных линий провести нельзя, да и не надо. В действительно великих произведениях поэзии всем четырем частям уделено равное внимание, они взаимно дополняют одна другую. Таковы поэмы Гомера, такова Божественная Комедия. Крупные поэтические направления обыкновенно устремляют особое внимание на два какие-нибудь отдела, объединяя их между собой и оставляя в тени два других. Меньшие выделяют лишь один отдел, иногда даже один какой-нибудь прием, входящий в его состав. Укажу кстати, что возникший в последние годы акмеизм выставляет основным требованием равномерное внимание ко всем четырем отделам. Того же требования придерживаются и французские поэты, составлявшие распавшуюся ныне группу Абауе.

Попробуем произвести опыт такого четверного разбора на материале, взятом из области конденсированной поэзии, которой является богослужение. Дионисий Ареопагит рассказывает, что ангелы, славословя Бога, восклицают: аллилуйа, аллилуйа, аллилуйа. Василий Великий объясняет, что это на человеческом языке означает: Слава Тебе, Боже! ¹⁾ Наши старообрядцы поют: Аллилуйа, аллилуйа,

слава Тебе, Боже! У православных слово аллилуйя повторено три раза. Отсюда большой спор.

В фонетическом отношении мы видим в пении старобрядцев одну строчку семистопного хорей с цезурой после четвертой стопы, размера цельного и по взволнованности своей вполне отвечающего назначению; у православных девятистопный хорей неминуемо распадается на две строки, шестистопную и трехстопную, благодаря чему цельность обращения пропадает. К тому же, так как при смежности строк длинной и короткой мы всегда стремимся уравнивать наше впечатление от них, выделяя короткую и затушевывая длинную, то ангельские слова получают характер какого-то припева, дополнения к человеческим, а не равнозначущи с ним.

В стилистическом отношении в старой редакции мы наблюдаем правильную замену чужого слова родным, как например, во фразе: «avez-vous vu тетию Машу?» тогда как в новой «слава Тебе, Боже!» является совершенно ненужным переводом, вроде: приходите к нам на five o'clock в пять часов.

В композиционном отношении старая редакция опять таки имеет преимущество, благодаря своей трехчленности, гораздо более свойственной нашему сознанию, чем четырехчленность новой редакции.

И в эйдологическом отношении мы чувствуем в старой редакции обращение порознь ко всем лицам Пресвятой Троицы, тогда как в новой четвертое обращение относится неизвестно к кому.

Будем верить, что наступит время, когда поэты станут взвешивать каждое свое слово с той же тщательностью, как и творцы культовых песнопений.

1) Передаю это по протопопу Аввакуму и ответственность за возможную ошибку возлагаю на него.

СЛОВО И КУЛЬТУРА

Трава на петербургских улицах—первые побеги девственного леса, который покроеет место современных городов. Эта яркая, нежная зелень, свежестью своей удивительная, принадлежит новой одухотворенной природе. Воистину Петербург самый передовой город мира. Ни мэтрополитеном, ни небоскребом измеряется бег современности: скорость, а веселой травкой, которая пробивается из под городских камней.

Наша кровь, наша музыка, наша государственность— все это найдет свое продолжение в нежном бытии новой природы, природы-Психеи. В этом царстве духа без человека каждое дерево будет дриадой, и каждое явление будет говорить о своей метаморфозе.

Остановить? Зачем? Кто остановит солнце, когда оно мчится на воробьиной упряжи в отчий дом, обуянное жаждой возвращения? Не лучше ли подарить его дифирамбом, чем вымалывать у него подачки?

Не понимал он ничего
И слаб и робок был, как дети,
Чужие люди для него
Зверей и рыб ловили в сети...

Спасибо вам, «чужие люди», за трогательную заботу, за нежную опеку над старым миром, который уже «не от

мира сего», который весь ушел в чайные и подготовку к грядущей метаморфозе:

Cum subit illius tristissima noctis imago,
Quae mihi supremum tempus in urbe fuit,
Cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui,
Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis.

Да, старый мир—«не от мира сего», но он жив более чем когда-либо. Культура стала церковью. Произошло отделение церкви-культуры от государства. Светская жизнь нас больше не касается, у нас не еда, а трапеза, не комната, а келья, не одежда, а одеяние. Наконец мы обрели внутреннюю свободу, настоящее внутреннее веселье. Воду в глиняных кувшинах пьем как вино и солнцу больше нравится в монастырской столовой, чем в ресторане. Яблоки, хлеб, картофель—отныне утоляют не только физический, но и духовный голод. Христианин, а теперь всякий культурный человек—христианин, не знает только физического голода, только духовной пищи. Для него и слово плоть и простой хлеб—веселье и тайна.

Социальные различия и классовые противоположности бледнеют перед разделением ныне людей на друзей и врагов слова. Подлинно агнцы и козлища. Я чувствую почти физически нечистый козлиный дух, идущий от врагов слова. Здесь вполне уместен аргумент приходящий последним при всяком серьезном разногласии: мой противник дурно пахнет.

Отделение культуры от государства наиболее значительное событие нашей революции. Процесс обмирщения государственности не остановился на отделении церкви от государства, как его понимала французская революция. Социальный переворот принес более глубокую секуляризацию. Государство ныне проявляет к культуре то своеобразное отношение, которое лучше всего передает термин тер-

пимость. Но в то же время намечается и органический тип новых взаимоотношений, связывающий государство с культурой наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали монастыри для совета. Этим все сказано. Внеположность государства по отношению к культурным ценностям ставит его в полную зависимость от культуры. Культурные ценности окрашивают государственность, сообщают ей цвет, форму и, если хотите, даже пол. Надписи на государственных зданиях, гробницах, воротах страхуют государство от разрушения времени.

Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем оказываются сверху. Но бывают такие эпохи, когда человечество, не довольствуясь сегодняшним днем, тоскуя по глубинным слоям времени, как пахарь, жаждет целины времен. Революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму. Не потому, что Давид снял жатву Робеспьера, а потому что так хочет земля.

Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла и меня не удовлетворяет исторический Овидий, Пушкин, Катулл.

Удивительно, в самом деле, что все возятся с поэтами и никак с ними не развяжутся. Казалось бы — прочел и ладно. Преодолел, как теперь говорят. Ничего подобного. Серебряная труба Катулла:

Ad claras Asiae volemus urbes

мучит и тревожит сильнее, чем любая футуристическая загадка. Этого нет по-русски. Но ведь это должно быть по-русски. Я взял латинские стихи потому, что русским читателем они явно воспринимаются, как категория должностования; императив звучит в них нагляднее. Но это свойство всякой поэзии, поскольку она классична. Она воспринимается как то, что должно быть, а не как то, что уже было.

Итак, ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько редкостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер. Когда любовник в тишине путается в нежных именах и вдруг вспоминает, что это уже было: и слова и волосы и петух, который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых тристиях, глубокая радость повторенья охватывает его, головокружительная радость:

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух,
Время вспахано плугом и роза землю была.

Так и поэт не боится повторений и легко пьянеет классическим вином.

То, что верно об одном поэте, верно обо всех. Не стоит создавать никаких школ. Не стоит выдумывать своей поэтики.

Аналитический метод в применении к слову, движению и форме вполне законный и искусный прием. В последнее время разрушение сделалось чисто формальной предпосылкой искусства. Распад, тление, гниение—все это еще *décadence*. Но декаденты были христианские художники, своего рода последние хвистианские мученики. Музыка тления была для них музыкой воскресения. Шарогне Бодлэра высокий пример христианского отчаяния. Совсем другое дело сознательное разрушение формы. Безболезненный супрематизм. Отрицание лица явлений. Самоубийство по расчету, любопытства ради. Можно разобрать, можно и сложить: как будто испытывается форма, а на самом деле гниет и разлагается дух (кстати, назвав Бодлэра, мне хотелось бы помянуть его значение, как подвижника, в самом подлинном христианском смысле слова: *martyre*).

В жизни слова наступила героическая эра. Слово—плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание. Люди голодны. Еще голоднее государство. Но есть нечто

более голодное: время. Время хочет пожрать государство. Как трубный глас звучит угроза, нацарапанная Державиным на грифельной доске. Кто поднимет слово и покажет его времени, как священник евхаристию — будет вторым Иисусом Навином. Нет ничего более голодного, чем современное государство, а голодное государство страшнее голодного человека. Сострадание к государству, отрицающему слово — общественный путь и подвиг современного поэта.

Прославим роковое бремя,
Которое в слезах народный вождь берет.
Прославим власти сумрачное бремя,
Ее невыносимый гнет.
В ком сердце есть, тот должен слышать, время,
Как твой корабль ко дну идет...

Не требуйте от поэзии сугубой вещности, конкретности, материальности. Это тот же революционный голод. Сомнение Фомы. К чему обязательно осязать перстами? А главное, зачем отождествлять слово с вещью, с травой, с предметом, который оно обозначает?

Разве вещь хозяин слова? Слово Психея. Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела.

То, что сказано о вещности, звучит несколько иначе в применении к образности:

Prends l'éloquence et tords lui le cou!

Пиши безобразные стихи, если сможешь, если сумеешь. Слепой узнает милое лицо, едва прикоснувшись к нему зрячими перстами, и слезы радости, настоящей радости узнавания, брызнут из глаз его после долгой разлуки. Стихотворение живо внутренним образом, тем звучащим слепком

формы, который предваряет написанное стихотворение. Ни одного слова еще нет, а стихотворение уже звучит. Это звучит внутренний образ, это его осязает слух поэта.

И сладок нам лишь узнаванья миг!

Ныне происходит как бы явление глоссалии. В священном исступлении поэты говорят на языке всех времен, всех культур. Нет ничего невозможного. Как комната умирающего открыта для всех, так дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно все стало достоянием общим. Идите и берите. Все доступно: все лабиринты, все тайники, все заповедные ходы. Слово стало не семистольной, а тысячестольной цевницей, оживляемой сразу дыханьем всех веков. В глоссалии самое поразительное, что говорящий не знает языка, на котором говорит. Он говорит на совершенно неизвестном языке. И всем и ему кажется, что он говорит по-гречески или по-халдейски. Нечто совершенно обратное эрудиции. Современная поэзия, при всей своей сложности и внутренней исхищенности, наивна:

Escoutez la chanson grise

Синтетический поэт современности представляется мне не Верхарном, а каким-то Верленом культуры. Для него вся сложность старого мира та же пушкинская цевница. В нем поют идеи, научные системы, государственные теории так же точно, как в его предшественниках пели соловьи и розы. Говорят, что причина революции—голод в междупланетных пространствах. Нужно рассыпать пшеницу по эфиру.

Классическая поэзия—поэзия революции.

СОДЕРЖАНИЕ

С Т И Х И:

	СТР.
Георгий АДАМОВИЧ — „Нет, ты не говори...“	3
Александр БЛОК — Сфинкс.	4
„ „ — „Смолкали и говор, и шутки...“	5
Н. ГУМИЛЕВ — Слово.	6
„ — Лес.	7
Мих. ЗЕНКЕВИЧ — Встреча осени.	8
„ — В мае.	10
Георгий ИВАНОВ — „Из облака...“	11
М. КУЗМИН — „У всех одинаково...“	12
М. ЛОЗИНСКИЙ — „Тебе ль не петь...“	14
О. МАНДЕЛЬШТАМ — Tristiae.	16
„ — Черепаха.	18
Ник. ОЦУП — Петух.	20
„ — Звездный котел.	21
„ — Сон.	23
Всеволод РОЖДЕСТВЕНСКИЙ — „На пагубе...“	25
„ — Баллада.	26
„ — „В те времена...“	27
Федор СОЛОГУБ — Госпожа Скюка.	29
„ — Сон похорон.	30
М. ТУМПОВСКАЯ — Закат	31

П О Э М Ы:

	СТР.
Н. ГУМИЛЕВ — Поэма Начала	32
С. НЕЛЬДИХЕН — Праздник	44
Ирина ОДОЕВЦЕВА — Роберт Пенятегью	47
Ник. ОЦУП — Осенняя	50

С Т А Т Ь И:

Андрей БЕЛЫЙ — Отрывки из глоссолалии	54
Н. ГУМИЛЕВ — Анатомия стихотворения	69
О. МАНДЕЛЬШТАМ — Слово и культура	73

Издания Цеха Поэтов:

ДРАКОН АЛЬМАНАХ. Выпуск 1-ый.

ДРАКОН АЛЬМАНАХ. Выпуск 2-ой (в наборе).

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. Глоссолалия (поэма о звуке).

Н. ГУМИЛЕВ. Посередине странствия земного (стихи).

О. МАНДЕЛЬШТАМ. Книга стихов.

С. НЕЛЬДИХЕН. Органное многоголосье (стихи).

ИРИНА ОДОЕВЦЕВА. Двор Чудес (стихи).

НИК. ОЦУП. Книга стихов.

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Книга стихов.

5742

Цена 300 руб.



ИЗДАНИЕ ЦЕХА ПОЭТОВ.